



Катя Капович

Другое

Катя Капович

Другое

Москва
«Воймега»
2015

УДК 821.161.1-1 Капович
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
К20

Художник серии: Сергей Труханов

К. Капович
К20 Другое. — М.: Воймега, 2015. — 112 с.

ISBN 978-5-7640-0179-1

© К. Капович, текст, 2015
© С. Труханов, оформление, 2015
© «Воймега», 2015

* * *

Я оттуда, откуда
вечер тёплый стоит,
серых лампочек дутых
ртуть по трубкам бежит.
Где бегущий по шпалам
серый поезд смешной —
как бегущий по шкалам
ртутный столбик такой.
Отделенья милиций,
министерства культур,
куртки, узкие лица,
в тамбуре перекур.
Дым летит за вагоном,
а навстречу дымок
выдувает с поклоном
очень длинный гудок.

Атлантида

Где жизнь Атлантидой лежала на дне,
горя фонарями в Обводном канале,
там жили поэты в огромной стране,
друг другу со вздохом стихи посвящали.

А после, а после — вон бог, вон порог,
а кто походил, примелькался, был принят,
сегодня сойдёмся, припомним тот вздох,
и снова-здорово — с вещами на выход.

Но в мире морозом дыхнуло на крест,
и роза в ответ зажигается пылко,
и долгое солнце всё падает в лес —
ещё один день в золотую копилку.

* * *

Вот и всё, колени к подбородку,
неужели это всё?
А ведь было раньше — рвали глотку,
вечером шли пьяные в кино.
Возле кинотеатра — ветер, тюльпаны,
фильм смотрели «Пепел и алмаз»,
эх, Цибульский, по столу стаканы
заскользили в двадцать пятый раз.
Нынче чёрные очки надену,
тоже в баре горькую возьму
и, хоть не положено, наверно,
тоже серной спичкой подожгу.
Не поймут друзья-американцы —
для чего весь этот марш-парад?
Нет уж, пусть стаканчики, стаканцы
по далёкой родине стучат.

* * *

Погадай мне, цыганка, по влажной руке,
молдаванка родная, —
в общем, что на уме, то и на языке,
а на нём — жизнь такая-сякая.

На малиновом кладбище лягут друзья,
и любовь твоя сгинет в Афгане,
надо всеми качнутся ля-ля-тополя...
Ничего себе, в общем, гаданье.

Тополя на дворе в лебедином пуху,
я не верю, не верю, не верю,
хочешь, на отсечение руку мою,
номерок приручённого зверя.

Три семёрки портвейна, и волчья тоска,
и Балтийское море вдогонку,
но не зверь я какой по своим ДНК,
это я наколю, как наколку.

Я вернусь в дворик наш через множество лет,
обниму тополь наш белоснежный,
будет боль, будут слёзы и полный привет,
будет вера, любовь и надежда.

И пойдёт перетёрка у нас на крыльце,
на крыльце мы присядем, как дети...
Это будет давно, старый дом в котельце,
самый голубоглазый на свете.

Когда пух тополиный, сойдясь в хоровод,
закружит над вечерней землёю.
...И цыганка хохочет во весь алый рот,
звёздной юбкой трясёт надо мною.

* * *

Так совершенно ничего,
так абсолютно ни к чему
ем, засыпаю, зрю кино —
полтинник вот перемахну.

Басё читаю наизусть,
ем палочками липкий рис.
Как скоро я перенесусь
с фальшивой улыбкой «cheese».

Над озером высоких слёз
так висит стрекоза,
так висит этот перенос
и тянется, как полоса.

* * *

Завтра сталью кольнут одноразовой
и прольётся скучнейшая кровь,
и не будет при этом Горацио
и красивых бессмысленных слов.

Не в связи ли с подобным предчувствием
репетирует каждый свой день
тот мотивчик молчанья напутственный
нервный, вежливый интеллигент?

Этак вскинется и отражается
в чёрном зеркале наоборот,
и народу он вовсе без разницы:
«Иностранец», — вздыхает народ.

Достоевский

Ночь. Ветром камера продута,
нет, он не выдаст напоследок,
чему равняется минута,
в которой ряд секундный редок.
Он будет слушать часового
шаги за дверью в коридоре
и чуда требовать простого
и будет Богом недоволен.
И он напишет: кто-то должен
на свете верить в человека,
понять, назвать его хорошим,
пальтишко отряхнуть от снега.

* * *

Средь стеклянной коробки в ожиданье трамвая
ты роняла, роняла спички и проездной свой
и, движеньем неловким снова их поднимая,
поднимала и тем проявляла геройство.

Снег струился с лица, ты лицо утирала,
мокрый заячий мех воротника поднимала.
Оглянись, всё прекрасно, спокойно в тех далях —
люди едут в трамваях, люди едут в трамваях.

Люди едут в трамваях, и зелёные окна,
уронив в мокрый снег свои ромбы косые,
возвратясь, возвращают им поочерёдно
то намокшие спички, а то проездные.

* * *

Говорила одна мне гражданка,
азербайджанка говорила мне, шамкая,
как играли наутро в футбол...
И армянка мне одна говорила
про футбол пресловутый с утра,
как мячами с глазами лупила
по воротам толпа средь двора.

Я не мудрствую больше лукаво,
мне неведом небесный расчёт,
может быть, это ум мой корявый,
может быть, мир обратно живёт.
И в ущелье своём и в предгорье
в двадцать первом столетье не знай
о футболе. Терпи, плачь от боли.
Уезжай, уезжай, уезжай...

* * *

Лазурь небес и золото в горсти...
Лети, как на гравюре потемневшей,
вечерний всадник в синие дожди
над иностранной площадью безбрежной.

В усах, при шпаге — преданный улан,
сияют на груди отличья знаки
за три войны в рядах соседних стран,
горящие и гордые атаки.

От польских перекроенных границ
до Франции кровавой небо белю
и, словно айсберг, так высок гранит —
«Ще Польшка не сгинела».

И долго, восхищённые слегка,
стоим пред потемневшею гравюрой,
прозрачная и светлая тоска
во взоре, тесной рамки амбразура.

Ах, что-то было в этих поляках,
худых, как палки в барабанном бое,
бесстрашных, нервных, нюхавших табак
в полках трёх стран за Северной Двиною.

* * *

Здесь чужая музыка, бывало,
до пупка мне душу надрывала
за стеной,
джазовая чёрная певица,
ветхая, как старая кулиса,
вспоминала год тридцать второй.

Как они там с Дюком или Эллой
пред толпою чёрной или белой
урезали блюз,
эх, какие розы в них бросали,
нынче нет таких. Пыль на рояле,
в окнах дождик плющит голый куст.

Ничего, родная, выпьем бренди,
жизнь твоя останется в легенде,
а моя легко
отоспится на тахте трёхногой
и пойдёт своей пустой дорогой.
Вот и всё. И — Let my people go.

* * *

Как густы развешенные тени,
как прозрачны золотые лица.
В Лейдене увидел небо гений,
а в Антверпене успел напиться.

В Амстердаме в дом сходил публичный,
а потом пошёл к прекрасной даме,
нежно обнимал её руками,
юный лоб старательно набычив.

Вы, сказала, совесть позабыли,
мы, сказал он, силы тьмы попрали,
даром что в Антверпене кутили
среди голых баб и всякой швали.

И когда он в городе болотном,
где мосты свисают, как браслеты,
проходил по уличным полотнам,
он не корчил из себя эстета.

И недаром так его любили
лодочники с пьяными глазами,
потому что золото от пыли
отличают в добром Амстердаме.

Острова

Мы живём на голубых островах,
голубых, как паутиная нить,
наши холодны глаза росах
и устроены леса сторожить.

За полоской облаков золотых,
за летящею вороной седой
сторожить леса в земле напрямик,
запятою дни делить за пятой.

Зря колдует заколдобина-речь,
ворожит, перетирая золу,
зря раздвоенный язык имя, вещь
ищет в памяти, иголку в бору.

Затерялось имя, вещь на листе,
хотя было вроде не воробей,
да и сами мы живём в пустоте,
а в которой пустоте, хоть убей.

Мы живём, где календарный прилив
возвращает без конца имя слов,
удаляется зелёный массив,
в синий-синий превращается вновь.

Картина с грозой

Над маленькой швейей с загадочной улыбкой
склонился ангел молодой, за ниткой
следит младенец в этом тихом мире,
и кажется, вот-вот полёт валькирий
сыграют скрипки и в большие двери
войдут смешные ласковые звери...
И долго пред картиной мы стоим,
и долго на картину мы глядим.
Какие удивительные масла!
Как всё это сияло, билось, гасло.
От молнии сухой перегорело...
Уже не вспомнить этой красоты,
не вспомнить, для чего рвалось в пределы
в те три секунды, злое сердце, ты.

* * *

Я — в подвалы эмигрантских газет
с анонимной строкой некролога,
что для прозы — прекрасный сюжет,
но для лирики — грустно и плохо.

Там, свои поправляя дела,
заполняя квадратики эти,
невесёлую службу несла.
Сорок баксов, и выйдешь на ветер...

И ещё сочинишь много строк,
даже станешь слегка знаменита,
но эталоном всегда — некролог
и посвящённый, не вяжущий лыка.

* * *

Протягиваю руку за перила —
стекает дождь,
что было — было,
того уж однозначно не вернёшь.

А было — капля,
слезинка удивлённого дождя
и след на камне,
который и слезой назвать нельзя.

Глупость, ошибка
была б преувеличить его грусть,
а так — слезинка,
твержу и — пролетай, шепчу, и — пусть!

И, друг прелестный,
когда ты рядом так наверняка,
чего грустить? Присядем в кресла,
попьём пивка, пройдут века.

* * *

Элементарно, дважды два, в соседнем доме окна желты,
и — в путь, цитируй до конца, библиотекарская дочь!
Проплыл оранжевый трамвай с зелёной водой по борту,
чей номер стёрся навсегда, вместе с трамваем скрылся в ночь.

В сознание стёрся образ твой из льда и полуфабриката,
над левой бровью белый шов от слова битого «стекло»,
другой трамвай пришёл с утра, но и его свезла цитата,
прошёл химический снежок, элементарный аш-два-о.

И ты идёшь на выдох-вдох с такой толпой до поворота
в такой подземный переход, где сроду заняты места.
Элементарно, дважды два, а если что дойдёт сквозь годы,
то ведь пожнётся и оно серпом и молотом труда.

И между ними жизнь твоя как перетёртая земляница,
но перед тем как в перепплав попасть на полный оборот,
поёт железная труба, чтоб мне на месте провалиться.
Поёт, ржавея на ветру. Ей вреден чистый кислород.

* * *

Ах, дружба! Ну конечно, дружба,
когда не в службу, а за так,
делясь за кружкой пива сушкой,
любой трясёт тебя дурак...

В хмелю, исполнен благородства,
кричит официанту: «Счёт!» —
от благодарности и просто
с ума сойдёшь и станешь вот...

Так благодарна я за всё,
так страшно благодарна — прозит —
за сотворённое добро,
за пьяный вздор, что ветер носит.

...Но есть и пламенная страсть
вместе с трагическим «люблю».
И надо долго зашивать
оторванную петлю.

* * *

В колодце двора, как ни выглянешь,
сидит их беспечная стая —
девчонки как будто на выданье,
румяные булки кусая.

И, нравится или не нравится,
болтают под круглыми звёздами
какие-нибудь раскрасавицы,
как в будущем вырастут взрослыми.

О чём говорили всегда,
сто лет ли назад или двести?
Ах, нравится или не нра-
вится тихий мальчик в подъезде.

О чём говорили везде,
в Москве или в Санкт-Петербурге,
в нью-йоркском кирпичном мешке,
скрошив голубям эти булки.

* * *

Дитя, ты спишь, обняв медведя плюшевого, —
да будут сны твои услышаны
среди грома грозового или пушечного,
да будут над обоими возвышены!

Как много для покоя нужно мужества!
О, так у существа смешного, слабого
больше его, чем у давно живущего...
Обнять, жалеть медведя косолапого.

Жалеть, обняв... Не значит ли бесстрашие?
А если снов кинематограф стыден?
Вопросики, вопросики... я спрашиваю.
Тогда уснуть. И видеть то, что видим.

Профессия

На кембриджском скверу вообрази: поэт
и голубь сбросил ей помёт на столик —
хвататься за мой чёрный пистолет,
наверное, не стоит.

На кембриджском скверу — густой аккордеон,
Жорж из Баку и мысль: «Пора нам в пабы».
А чтобы в пабы нам, монет нам нужен звон...
И с этим занялась преподаваньем как бы.

Читаю нараспев: «Люблю грозу...» —
литературный раб, речь продаю родную,
в тетрадке голубой — конспект, и чушь несую,
на что и существую.

На кампусе лежит морозная листва,
подорожал табак не в полтора едва ли...
Редет мудаков летучая гряда,
что в шашки целый день и здесь на социале.

Но я ещё могу, чтоб мой язык отсох,
деконструировать психически опасный,
безумный совершенно монолог,
который местный пастырь.

И, господа, в раю, когда придём мы в класс,
когда придём туда мы с нашим грузом тяжким,
спроси уж про грозу в начале мая нас.
Её любили мы, предпочитая шашкам.

* * *

Говорят, в России говорят по-русски
от зари и до зари
и что палец держат там они на спуске,
что ни говори.

Говорят, что, в общем, пишутся стихи и
кажутся кино,
светятся окошки, вьются мостовые,
бьётся домино.

...Что заходит солнце и восходит солнце,
как сто лет назад.
А что бьётся сердце, сердце перебьётся —
мало ль говорят.

* * *

Контрастные души, инъекции чистого холода —
ничто нам с тобой не могло в этой жизни помочь,
с деревьев летит на заре паутинное золото,
в одном направлении с ним удаляется прочь
прохожий, прохожий... Тебя за рукав я не дёргаю,
а мысленно так окликаю, как всякий поэт,
сжигаемый мрачной догадкой и робкой тревогою
за то, что проходит, а ты ему смотришь вослед.
А ты по пятам его ходишь навязчивой тению
и хнычешь: о, там, где деревьев златые верха,
как в Чехова поздних рассказах, есть нота осенняя,
а он, словно в Чехова ранних рассказах: ха-ха.

* * *

В амфитеатре неба колоссальном
гнал ветер пожелтевшую листву,
в пустом дворе немного театрально
старик глядел в походную трубу.
Своё пальто холодное надену,
на нос напялю тусклые глаза
и в позе капитана из Жюль Верна
начну смотреть в золотые небеса.
То не листва по ветру проплывает,
а мы с тобой плывём, смешной старик,
и, может быть, ведь, говорят, бывает,
там, в пустоте, увидим божий лик.
И даже если первый снег увидим
мы, из-под хмурых взглядывая век,
то скажем всё равно в обгон событий:
возрадуйся, усталый человек.
Что этот снег, пусть смешан он с листвою,
дорогу закрывают, жмут в объезд —
всё скоро станет белым поневоле,
тихим и белым. С музыкой и без.

Сократ

Шёл Сократ Афинами в тюрьму..
Зная, что пришёл момент прощанья,
не сопротивлялся ничему,
тихо говорил с учениками.

Почему, учитель, наравне
с разными идёшь туда на гибель,
был ты самым смелым на войне, —
воскликали все, кто это видел.

Ждут тебя тугие паруса,
для тебя стоит корабль на пирсе, —
а он шурил ясные глаза,
грубыми губами чуть кривился.

Может статься, верх свободы — зло
всё испить из гордого упрямства,
не в слезах проститься, а светло,
справедливейшее государство?

* * *

Как сильно люблю я на свете четыре вещи:
пустой дотлевающий день затяжной зимой,
короткое пламя спички, конфорки венчик,
когда прямо в форточку сыплется снег голубой.

Когда выгрбаешь солнце с золой из камина
и, утопая в ступеньках, несёшь со двора,
когда ничего-ничего в этой жизни не мило,
когда, как зола на снегу... Что согреет зола?

Под небом стою и смотрю на неё ниоткуда,
пустое ведро леденеет в забытой руке,
всё — звёзды и снег, да и жизнь моя больше не чудо,
не чудо — чудилка обычная, нос в табаке.

Ах, жить надо заново, начерно в мире покатыстом,
как все на земле... как и вся голубая земля,
и снегом скрипеть, пятистопным анапестом —
всё дальше и дальше, белее... Как сажа бела.

* * *

Песок и вода. Вода и песок,
ну разве что облако наискосок.
И тысячи лет это так навсегда,
желтеет песок, голубеет вода.

А впрочем, и в ней отражаются вещи,
для жизни и вовсе ненужные: вечный
желтейший глазок, голубой сердолик.
Ах, это — луна, к ней твой глаз попривык.

И так хорошо, что тому нет причины,
сбиваются чайки клевать мертвечину,
сбиваются волны в зелёную кучу,
и так хорошо, что не может быть лучше.

Слепой

Всё зря и ничего не видя,
идёт слепой на поводке,
выстукивая тростью в плиты,
несёт продукты в рюкзаке.

Тук-тук... кирпич на тротуаре,
бум-бум... железное ведро,
собака лает, «р» картавя,
и грязью брызжет колесо...

Слепой! Смеются злые дети.
Ах, что сказать? Ведь вправду злит
вид грустной тросточки на свете,
звук вечной музыки из плит.

* * *

Это не мы уезжали,
это она отошла
в прошлое цвета печали
с ладанками — родина.

Не было зла и не-зла,
тихо играла музыка,
дней закусив удила,
только заела пластинка.

И в пустоте городской
всё ей мерещится долго,
что это мы — тишиной
вновь окликаем с пригорка.

* * *

Как с косами Бежина луга косцы,
лишь синий мороз по-ударному вдарит,
вороньи дворы на заржавленных сваях
летят тротуарами в тартарары.

Так школьник читает «Родимую речь»,
как будто мороз пробегает по коже.
Тургенев на стенке... Не Бежин, а божий,
дружок, потихонечку будем стеречь.

Стеречь, обнимать, пить ромашку на сон,
скучать по зиме, от ветрянки чесаться.
Он тоже скучал среди чужих декораций,
Иван наш Сергеич, считая ворон.

Серьёз

Продлевая немного с опаскою —
дай нам господи столько лет —
наши синие, американские,
мы — к фотографу в кабинет.

Наши тихи глаза безошибочно,
пальцы жёлтые, нос в табаке,
затерялась на лицах улыбочка,
эх, повисла на губ уголке.

И фотограф немного в унынии:
вы не поняли, нужен серьёз.
Старый, тихий фотограф, мы в синие
ксивы наши войдём, полны слёз.

Только слёзы и смех и останутся
после нас, потому что вода,
и серьёзные, право, обрадуются
очень синие паспорта.

* * *

Свет на небе от лимонной корки,
жизнь бежит, сухой песочек в колбе,
вверх плывут кораблики-моторки,
а вокруг всё небеса-задворки.

Отплывает наш кораблик белый,
отплывает город от причала,
становясь зеленоватой пеной,
жёлтою полоской за плечами.

Нас бросало на вине и водке,
нас водило на слезах и пиве,
нас сводило, как с груди наколки,
наконец-то мы уже приплыли.

Золотой покой и день чудесен!
Что ж ты голову, гордец, повесил?
Хочешь песен? Есть у нас и песен,
но от песен в мире только плесень.

* * *

Я вспоминаю ночь, часов большие круги,
их дробный мелкий стук в холодный циферблат
и как мой лучший друг тогда дрожал в испуге,
он ветра не любил. Он был в те дни солдат.
А завтра на войну, и он собрал пожитки
и с удивлением смотрел, как лупит ветер
и на одной петле вращается калитка
от собственной пустой скобы на сантиметр.
Он сроду не видал живого пулемёта,
он путал карабин и собственно затвор.
...Вращается калитка, закрытая неплотно...
Он сам вращает шар земной с недавних пор.

* * *

Таблетку на ночь приму,
но перед тем как уснуть,
жизнь озираю свою,
заглядываю в её муть.
Зачем, скажи, когда я
болела гриппом в семь лет,
не умерла, а могла
и пропустить тот рассвет.
Он очень холоден был,
хоть был по Цельсию ноль,
но так он всё забелил —
и свет палящий, и боль.
Или потом, когда вёз
меня в великую глушь
расшатанный паровоз,
Урал, я не сдохла от стуж?
Затем ли, что в том краю
ужасных тюрем и зон
был этот снег сквозь зарю,
не только грязный перрон.
Или хотя бы затем,
что важно было хоть раз
поговорить пред тем,
как рылом, рылом в матрас?

* * *

Ты убит в Афганистане,
над твоей могилой крест,
роза над могилой вянет,
и меня обида ест,
что тебя везли мастито
в оцинкованном гробу,
схоронили шито-крыто
и под музыку не ту.
Я приду сюда, в аллею,
по нетоптаной тропе,
вставлю в плеер Чарльза Рэя,
пусть сыграет он тебе.
Чтоб ты вспомнил, как когда-то
пласт винильный ставил нам
после школы, после ада,
после рук и ног по швам.

* * *

Мы не просто стояли, а запросто шли по воде,
как протоптанной шли совершенно нормальной тропой.
Помнишь мокрые пятиугольные звёзды? Да нет,
ты не помнишь, наверное, этих вот звёзд под ногами.
Это очень понятно, что ты их не помнишь... Я их
приплела к этой песне для красного просто словца,
просто берегом шла я, увидела мёртвый плавник —
отчего ж не добавить для смысла четыре конца?
Пусть вода расправляет ожившей звезды уголки,
пусть волна за волною находит на шлакобетон,
пусть друзья сочиняют изрядно плохие стихи,
даже если стихов этих там не читает никто —
всё равно пусть напишут, посыпавши пеплом листы,
что угодно, но лишь бы сиял под зелёной луной,
как у мокрой звёзды, — пятый угол пространства, где мы
очень просто идём по воде — как стоим над водой.

Поезда

Памяти Н. Горбаневской

Как провожают поезда
и тех, кто в их окошках машет,
так провожают только старших,
переезжающих «туда».

Туда, туда! Взвыл паровоз,
дыхнул туманом и морозом
и к синим безугольным звёздам
возвёл две фары средь полос.

Мы видим столик и стакан,
и кубик сахарный, что долго
не мог растаять, сразу горкой
выносит всё на первый план.

Восьмидесятые

Вечереющие кинотеатры,
восстановленные киноленты,
с чеховской бородкой литераторы,
бритые литературоведы.

Кресла с подлокотниками острыми,
фляжки коньяка трёхзвёздочного,
рукописи с набранными вёрстками —
просто «выход» из столетия проволочного?

По стране катаются туристки,
по российским городам и весям.
Сосны как большие обелиски,
слепленные Эрнстом Неизвестным.

* * *

В часы бездумного отчаянья
мне видятся её черты,
уроки глажки и вязания,
элементарной доброты.

Бывало, шла она дорогою,
бывало, ехала она,
мешала ложечкой негромкою
с моей тоскою свои слова.

В купейном — Розенбаум, шлягеры,
в плацкартных — группа ДДТ,
так ехали кресты, рубахи и
попса, студенты и т. д.

Так мчались в обстановке радужной,
другую полюбив любовь,
другие песни брали за душу
и сильно возбуждали кровь.

И было пассажирке муторно,
лицо к окну поворотив,
кривила губы. Было утро, и
она прошла перронов вкривь.

Она прошла пустыми зданиями
в своём изношенном пальто,
глазами, широко поставленными,
она взглянула холодно.

Она прошла... и лёгкий ветер,
с духами смешанный туман,
и Блок в прозрачнейшем пакете,
и кто-то покачнётся, пьян.

Не выкликай её ты имя,
она устала от вранья,
жизни немая пантомима,
пустая молодость моя.

Почти романс

С. Гандлевскому

Эх, над низенькими крышами —
до-ре-ми-фа-соль,
над дворцами и над хижинами —
звёздная фасоль.

Жизнь играет, вертится и крутится
курицей на вертеле,
всё пройдёт, лишь будет улица
ночь, каёмка на стекле.

Только звёзды многоцветные
много, много лет.
Только в мыслях — мысль конкретная,
что — одна звезда заветная,
а другой и нет.

* * *

Летает дыма голубой воланчик...
Поговорим о вечном.
Хочу смотреть, как свечи плачут,
церковные свечи.

Какое тихое лицо мадонны!
В глазах её — слёзы.
Идут, и идут, и идут эшелоны,
и падают звёзды.

Свеча прозрачная, свеча дневная,
будь нам приветом.
Но что поставить нам с другого края...
Поговорим об этом.

Так глупо быть, лоб складывать в гармошку,
лечить простуды.
Ах, свечка жёлтая, позолоти ладошку,
душа черней мазута.

Город для шелкопряда

Шелкопряду неважно, что нитка тонка
для сосновой иглы, для крючка винограда,
что не в моде сегодня сырые шелка,
а всё более в моде косые заплаты.

Всё равно он потянет, слабея чуть-чуть
с каждым новым рывком, узелком, оборотом,
и внутри расстояние в Шёлковый путь,
хоть уйдёт недалёко от дома, пройдёт он.

Шелкопряду по нраву глубокий подвал
и покато́й стены одинокая голость,
ему нравится также, что есть интервал
между ним и не им. И что это как город.

* * *

Умами зрителей играющий
в осенней арке у ворот,
заезжий маг букет пылающий
из чёрной шляпы достаёт.

Гирлянды красные и жёлтые,
мышонка посадив в карман,
он достаёт из куртки шёлковой,
и не поймёшь, в чём тут обман.

На площади, в морозной колкости,
мы, иногда гуляя здесь,
вдруг застываем с осторожностью
среди простых его чудес.

Смешной, с мышонком за жилеткою,
он голубя достал... А вдруг
и нас в такое утро ветхое
достанет он обманом рук?

* * *

маме

То спичек нет, то нету стрептоцида,
темно и жарко дышит тишина
у Азии разбитого корыта,
и всё никак не кончится война.

И если я допрашиваю старших,
они лишь пальцем водят по стене
и видят чёрный крест на фюзеляжах
и близко — чёрные очки в окне.

И если им костюм дарить, то просят
дешевле, чтоб не страшно умирать,
коричневое никогда не носят.
Но соль и спички есть и — благодать.

* * *

Поздней дорогой иду,
в поздние плиты гляжусь,
переступаю черту,
медленный лапчатый гусь.

Переступаю с одной
лапы на лапу, черта
тех, кто ещё над плитой,
но уже знает места.

Переступи этот вздох,
переступи эту боль, —
дождик лепечет. Дружок,
сам бы попробовал, что ль?

* * *

Вспыхнуло вдруг и на миг озарилось —
рельсы, вагоны, подножка,
ты не стареешь, божия милость,
только устала немножко.

Ты походила путями прокорма,
и натрудила ты плечи,
речь твоя стала совсем разговорной,
даже не речь, междуречье.

Это лицо, обращённое в дымку,
о, как ты, мать, попростела,
но узнаю и глаза и косынку —
ты все глаза проглядела,

отпровожала на все Конотопли
все поезда, что бывают.
Детские их и предсмертные вопли
стынут и ночь разрывают.

* * *

Лягу спать... И во сне приснится
недописанная строка,
перечёркнутая страница
или, может быть, облака.

И они будут как скрижали —
там прозрачно, а там — бело,
перечёркнутые стрижами...
Март, Россия, второе число.

* * *

Бледный, бледный свет,
милый синий купол,
бог устал, он слеп,
он не водит кукол.

Кукловод-мужлан
нитки тянет по миру.
На земле — пять стран
света с Anno Domini.

На земле есть кладбища —
звёздочки с фуражек,
там плывет земля ещё,
а куда — не скажет.

* * *

Часом раньше, часом позже все умрём,
тосковать о том не буду. Что о том
тосковать, что часом раньше из живой
стану мёртвой, а вернее — никакой.
Никакие пред собою облака
я увижу — ни к просвету, ни к дождю,
эта штука и со мной наверняка
приключится, уж хочу иль не хочу.
И всё будет в облаках, что и внизу, —
службы, праздники, выгуливание псов...
В облаках опять собаку заведу,
поводок куплю длиною с горизонт,
лишь ошейник никогда не будет строг.

* * *

Готово ли тело к труду,
оно ещё хочет к утру
доспать, слышь, свою ерунду —
и я прижималась к бедру.
К ребру твоему в темноте
ребром прижималась внутри,
хребтом приникала к тебе
и труд посылала на три.
И дальше, туда, где конём
брал Пётр клубящийся дым,
я день посылала с рублём
его трудовым.

* * *

Я с завистью редкой,
противной себе,
читаю заметку
о вашей судьбе.

Побеги, аресты,
в карманах стихи,
чужие подъезды
глядятся в глазки.

Ревнивым подростком
завидовала
словам вашим жёстким —
я б так не смогла.

Меня окрутила
любовь к облакам,
к цыганским мотивам
и Блока стихам.

Хотелось стать ловкой,
на небо всползти
и божью коровку
хотелось спасти.

* * *

Мой товарищ звонит из Тагила,
окликает на вы... Школьный, милый,
разве сердце изменишь страной?
А ведь мы всё делили с тобой...
В коммунальной облезшей квартире —
там, на речке, дымок в три ноздри
не забыла я, где, словно гири,
раскачались весной снегири.
Эта речка-вонючка и брёвна
с мужиками на чёрной воде
мною любимы, ну, пусть не до гроба,
но, как прежде, со мною везде.
И вообще, я всё та же, не лучше,
по ночам я ворую цветы,
в канцелярском отделе две ручки
прикарманила. Помнишь латынь
молдаванок весной запоздалой?
За рекою широкой живи,
вспоминай иногда свет линияльй,
лёд, продышанный до синевы.

* * *

Жить бы и жить у холодной и сильной реки —
как я хотела её злого блеска под небом,
неба хотела, а вовсе не чёрной тоски
и чтобы скрипки играли и били по нервам,
чтобы сводили с ума золотые смычки.

Нет, не играли смычки, а трещали внапряг
в парке кузнечики, невероятно гремели,
в парке уродливом между бетонных коряг
лишь провода телефонные громко гудели,
и за бутылкой бежал кто-то в универмаг.

Только всё больше меня снаряжали туда,
всунув трояк: притащи три бутылки покрепче.
Да, признаюсь, тосковала, под курткой неся,
плоть прикрывала, а душу прикрыть было нечем,
нечем прикрыть было грешную душу, друзья!

Так и скажу, перед вечным представши на том:
да, сознавала, затем и дрожала под курткой,
трижды ловили меня, отпускали потом,
да, соловьём разливалась, и стало уж шуткой,
жуткою, впрочем, — уменье моё соловьём.

Чтобы не стало ни этой охраны, ни касс,
где вы, любимые, в вымокших куртках стоите,
и если там хоть одним из вас меньше сейчас
стало в тюрьме, то, припомнив меня, так скажите:
может, не зря тосковала она среди нас.

Другое

Фонарь блестит, листва летит,
и начинается другое —
солдат солдату говорит,
затвор уж отводя рукою:
сегодня я тебя убью,
а завтра ты меня размажешь,
наутро встретимся в раю —
две серых звёздочки с фуражек.
И так прекрасны и светлы
по кругу неба поплывём мы...
Дрожат углы, летят миры.
И — жизнь... Но тоже по-другому.

Зимнее утро

В семь пятнадцать рассвет так похож на закат,
мокрый снег полосою струится в окно,
застучит из тумана дружок-автомат,
автомат для газет медью сыплет на дно.

На рассвете, где бешено мечется снег,
это очень несложно, мой друг, проглядеть,
проглядев, не заметить, понять, умерев,
что в сырые газеты завёрнута смерть.

Смерть завёрнута, друг, в голубые листки,
настоящая смерть, смерть-война, не любовь,
я газет не читаю, я прячусь в стихи
и, плохой гражданин, умираю в них вновь.

И, плохой гражданин, каждый день я встаю,
а встаю я, мой милый, ни свет ни заря,
на вчерашнюю смерть свою дико смотрю,
вспоминаю: убили совсем не меня.

* * *

Были рабы мы, стали мы рыбы,
ряскою ходит небесный мазут,
рты раскрываем счастливо —
здесь на обиженных воду везут.

В плавательном батискафе
ты до чего опустился, Кусто?
Передержался на кайфе,
галлюцинировал через стекло.

Были такие там лица
с твёрдым набором таких челюстей,
будто из Брема таблицы,
просто из окон больницы,
проще — из жизни людей.

* * *

История слева направо меняется,
но слово и в слово набор прилагаются,
все тридцать три буквы «сама зарифмуй»,
как в чересполосицу Санкт-Петербургскую,
одетая в синее, длинное, узкое,
выходит буржуйка, а с нею буржуй.

Он за локоток её, он вот-вот грохнется,
и будет смеяться дурная околица,
он шепчет растяпе-подруге: давай
таксиста, извозчика, чёрта ли самого,
и на городские подмости, как камера,
накатывает, слава богу, трамвай.

Билеты-билетики, сумки кондукторские.
А через полвека к ней в сумерки хуторские
приедут поэтчики-мальчики в храм
и будут просить её, тетку поэзии,
как было всё там, где ходили по лезвию
великие Блок, Иванов, Мандельштам.

К...

Из хрестоматийной пятёрки простых,
из чувств для познания небесных прорех
я только касанье ладоней твоих
могла разуметь лучше всех, тише всех.

Я только касанье ладоней во тьме
могла понимать как отдельный язык
и линию жизни на правом холме
любила за это сильнее других.

И там, где моя совпадала ладонь
с твоей, как кленовый с кленовым листок,
там вспыхивал красный прощальный огонь —
на линию сердца прозрачный намёк.

* * *

Стихам изволите — это ужасный тон —
учить меня? И я бочком, бочком
к дверям и всё кивая головой...
А впрочем, вот совет, извольте, мой.
Писательница, вам ведь сколько? Сорок?
Взгляните в зеркало, поправьте перманент
и хоть на миг задумайтесь: вы скоро...
И позабудут в тот же вас момент.
И будет в мире жить смешной придурок,
читать мои стихи себе же вслух
перед окошком, разгоня сумрак.
Прочтёт, закурит, не наложит рук.

* * *

Замолишь пустые грехи,
напишешь плохие стихи
про чёрную эту тоску...
Покаешься, как на духу.

Ах, дурочка, дудку достань!
Не рана, а попросту... рань,
а просто летит с неба снег,
а снизу не спит человек.

И мысли его — высоко.
И что ему снег — ничего.

* * *

Ночевала в Латинском квартале
возле храма в гостинице старой,
жёсткий ворс на сыром одеяле
дымом пахнул, овечьей отарой.
В этой комнате самоубийца
жил, и ночь на кривой половице
ему что-то, воляясь, играла,
замолкала, скрипела, скучала.
Грустно ночь ночевать в чьей-то спальне,
слушать стон половицы прогнутой..
Хорошо по брусчатке вокзальной
уходить в леденящее утро.
И по вздыбленной чёрной брусчатке,
как Незнайка, пойду по луне я,
поиграю со скукою в прятки,
смерть, зеленую суку, отбрею.

* * *

Густых следов тропинка,
обледенелый двор.
Он отмытарил ссылку,
психушку перетёр.
Он — за серьёзный повод,
я — за слова мои,
но, поравнявшись, ворот
равно поднимем мы.
Его возьмёт обратно
обледенелый снег,
а я пойду и гадов
не позабуду тех.

* * *

Крутись, мой милый калейдоскоп,
вновь перетряхивай сор стекла!
Печали наши, обиды, скорбь
исправят Брюстера зеркала.

За эту оптику, эту ложь
тебя люблю я с давнишних пор
не потому, что узор хорош,
за то, что неповторим узор.

Вот так поэт, пока спит и ест,
и сам не знает, какой мотив
от перемены случайных звезд
однажды сложится, жизнь простив.

* * *

Не за употребленье крепких
напитков вам держать ответ,
не за смешного дядю в кепке,
а лишь за то, что вы — поэт.

Был мрак, и он растаял вроде,
и что-то сочинили вы
и жгли, и к вам в водовороте
вернулись мокрые листы.

Вам было двадцать, вы добиться
смогли всего ценой труда.
Читайте бедные страницы —
с них слёзы капали тогда.

Le voyage

Восхитительное освещенье кругом
разливается, бьёт по глазам,
вспоминается площадь, вокзал под мостом,
глупой жизни базар и бедлам.

Это притча о том, как грохочет стекло
в подстаканнике на столе,
как дрожит подстаканное серебро,
отражаясь в вагонном стекле.

Поезд шёл на Урал, кто-то песню тянул —
я запомнила только припев,
остывающий лес, догоняющий гул,
череду станционных химер.

Там химеры уродства, унынья, тоски
рисовались в проёмах дверных,
продавались в лукошках коренья земли —
выбирай из грехов, мол, земных.

Окунай мою душу в огонь и во тьму,
по тоннелям ночным проведи,
на недолгой стоянке простую еду
у священника освяти.

Расскажу ему всё... как течёт по губе
этот чай с сахарком и с дымком,
и в купе украду подстаканник, он мне —
сувенир в полушарье другом.

* * *

Помогая немощной старухе,
втаскивать, корячась, в дом мешок
или в сквере взять дитя на руки
и сказать: не плачь, что шарик «чпок».
Мама купит лучше и огромней,
будешь в нём по воздуху летать.
Ничего нет невозможного, ну, кроме,
ну, понятно... Можно доброй стать,
можно вернуть слепому зренье,
можно всё, и всей этой фигни
много. А возьми стихотворенье —
как мало под звёздами. Их три.

Из газет...

В том селе, где рос, пыль гонял, скучал он,
где когда-то мать умерла навечно,
как сказал отец голосом усталым,
где отец рыбачил, приносил под вечер

снулых окуней с кровью на оскале,
детство где тянул, встал однажды ночью,
отвязал ничью лодку на причале,
к островам поплыл, плакал, пел, ворочал

по волнам веслом. Утром не хватились,
только днём пришёл тот хозяин лодки
и сказал отцу... Обыскали выброс,
вертолёт кружил. Пустота, лишь волны.

Волны, пустота вплоть до горизонта.
Да ещё вина — на отце за сына,
но она ли что объяснит резонно?
Ну, тогда — печаль этой вещи имя?

Время есть печаль, пусть оно и скажет,
но оно молчит сырыми несловами.
Есть ещё закон с ворохом бумажек,
он сдувает пыль и в лист глядит очками.

* * *

Разбирая в подвале хламьё,
натыкаюсь на сумку квадратную,
пыль сдувая, на свет из неё
извлекаю машинку печатную.

Сразу всё вспоминается вмиг:
экземпляры с нечёткими строчками,
белым воздухом меж запятых.
Эти буквы стучат молоточками.

«А» и «я» западают слегка,
но машинка нормально печатает,
лента чёрная издалика
что-то длинное перекачивает.

Как подземка ночного метро,
по резиновому эскалатору
поднимается в небо оно,
много раз вывозившее автора.

* * *

О том, о чём целый век тужили,
о том, о чём мы сказать хотели, —
одно скрипенье одной пружины,
одно качанье сырой качели.

...Нас с детства краткости обучали.
Что краткость нам? Отдыхает нынче,
обжѣвши пѣрышки в карнавале,
язык абсурда, он нам привычней.

А сердце — что? Так летит на ощупь
и так чудесно поѣт моторчик,
что невозможно сказать короче...
Рассыпь набор моих слов, наборщик.

Русский скрэббл

Денису Новикову

Мы, конечно, ушли, но ушли, доиграв
и до самого дна дочерпав алфавит,
но из короба-скрэббла все буквы добрав,
как велел этой долгой игры алгоритм.

Но достав тридцать три — хочешь, пересчитай,
пока там, за дверьми, шёл-гремел маскарад,
там построили мир, удивительный май,
там построили рай, говорят.

Там такую придумали, слышишь, страну
и такое повесили небо над ней,
а у нас только первые буквы в длину
принесли слово «сон», слово «снег».

А у нас по реке под названием Коцит
одиноко скользнула ладья беглеца,
и закапал слезой голубой «сталактик»,
очень много очков игроку принесся.

Из какой чепухи, из квадратиков дней
мы сложили его и подбили очки,
он, конечно бы, мог быть длинней и полней,
но так буквы легли, так сложились они.

Это будет давно, над рекою проснись,
и услышь, как водичку черпает весло,
и дарёной игрушке с названием «жизнь» —
улыбнись не в слезах, а легко и светло.

1995

* * *

Вот в железный троллейбус сажусь
на ходу, на ходу
и за поручень мокрый держусь,
будто я упаду.
Друг-троллейбус плывёт по весне,
он плывёт по стене,
по заплаканной грязной стене,
весь в зелёной броне.
Мимо серых намокших раки
он летит сквозь туман,
звон копыт, и мобильник зашит
в мой нагрудный карман.
В том мобильнике сто номеров,
но лишь ты разбуди
эсэмэскою в несколько слов
к тебе по пути.

* * *

Солнце какое! Человеческий муравейник!
Из-под земли как один встали, вышли на праздник
яркой листвы. Вот идёт коммунист-проповедник
и улыбается всем, как смешной первоклассник.

Если морщины разгладить ладошкой солнца,
как просветлеют на миг окаянные лица,
бороды смятые, будто у народовольцев,
век за которыми бегал запыханный пристав.

Пристава жалко, всё взглядывал из-под газеты,
лица рассматривал, толстый, вспотевший, усатый,
в карточку пялился, запоминал их приметы...
А между тем эти просто бросали гранаты.

Мы же садимся в прогулочный валкий корабль,
экскурсоводу велим: убери мегафон свой,
вдвое сложи свою речь про октябрь, ноябрь...
март и февраль, где казалось, что всё обойдётся.

* * *

Натянувши шапки по надбровья,
докуривши «Приму» до конца,
мы уйдём, как детские герои,
в лучшие на свете небеса.

Вырасти не сильно получилось,
лишь в плечах раздаться на аршин.
Принимай в объятия, божья милость,
плавателей босоногий клин.

Все мы дети капитана Немо,
и о нас гремит флагшток в окне:
вы увидите родное небо,
вы зазря не канете на дне.

Капитан тихонько улыбнётся,
трубочку раскурит он свою.
Про закон бездонного колодца,
старый чёрт, не скажет никому.

* * *

Челночный способ тканья полотна —
строка бежит по краю за строкою,
а ты идёшь подобьем челнока,
с обратной выводя на лицевую
дома, дорогу, небо, облака.

А ты выносишь их на белый свет,
на чистую как бы выводилась воду,
и у тебя другой заботы нет,
как строчку подстраховывать у входа —
плохого не показывай испода,
уродство перепаживай, поэт.

А по утрам работой задарма,
газеты развози, крути педали,
смотри картинки — люди и дома,
дома и люди. Как они устали!
Возьми их и из смерти воскреси,
им расскажи потерянную сказку
и под шумок их в рай перевези,
как челноку положено к развязке.

* * *

Олегу Дозморову

Над промзоной на Урале
пролетали небеса,
трубы, как валторны, распевали
без конца.

Хорошо быть в жизни пионеркой,
пробовать всё в самый первый раз,
грустно старой быть и нервной,
вспоминать всё в сто десятый раз!

В сто одиннадцатый раз божиться:
нету лучше тех людей,
чем в промзоне в той больнице,
где, вдыхая вонь от простыней,

вижу: провезли кого-то в коме,
пробую привстать и не могу,
самолётом на аэродроме
лишь руками белыми машу.

Белыми кричу вослед губами,
вызывая у лежащих смех.
И на всём Урале над дворами —
снег, снег, снег.

Пусть его и не было, приятель,
просто санитар открыл окно
и весной запахло вдруг в палате
и спасло дыхание одно.

* * *

Николай, Степан, Василий — все нормальные,
а четвёртый, Павел, песни пел прощальные,
орал всё песни брат, как последний debil,
уголь не рубил, бойлер не топил.

Первые три брата с миром жили в мире,
если что, на праздник транспарант носили,
а четвёртый брат косил, ничего не носил,
чем ужасно вокруг население бесил.

Пусть три старших брата будут нам здоровы,
будут нам здоровы братья Петровы,
а четвёртый придурок пусть шмалит свой окурочок,
пусть его поберёт кривой переулочок.

В городе Тагиле, коль проездом будете,
если к тому времени память не загубите,
а зачем вам, впрочем, память загублять,
в городе Тагиле на ветру стоять?

Ну а всё же, всё-таки интересно всё же нам,
что стряслось с четвёртым, не рубившим, скошенным.
А собственно, ничего. Ничего с ним вообще.
А вон он, вон он плывёт в вышине, в тишине.

* * *

Что нужно скрипочкам древесным,
волокну конскому,
колкам над двориком облезлым
тем кишинёвским?

Там в каждом жарились котлеты
и в каждом жарко
рыдала скрипочка всё лето
для меломанки.

А в парке музыкант незрячий
пил пиво с водкой
и проводил смычком горячим
под подбородком.

И — всё, и — плакала работа,
стой, хлюпай носом,
в парке Победы и чего-то
живи промёрзлом.

Мне от отца потом достались
чёрные диски,
я ставлю их, когда отчаюсь,
когда всё низким

мне кажется, и слышу детства
звук бриллиантный,
как будто улей, снявшись с места,
поплыл обратно.

* * *

Спит земля вселенской ночью,
Шуберт отыграл,
тихий, ласковый, височный,
в третьем наповал.

В третьем мреющем окошке,
где с тесьмой кровать,
Шуберт отыграл про то, что
радость хочет спать.

Лишь рабочий молоточком
там по шпалам бьёт
в тихом городе полночном,
но и он уйдёт.

И услышишь поезд дальний
и помыслишь так:
эка музыка печальна
в малых городах.

* * *

Ну, не будут дети знать,
как мы знали, что почём там,
будут грóши воровать,
каблучкам стучать их модным.
Будет всё иначе, вточь
будет только боль и жалость.
Если постучится дочь,
скажет: я проворовалась...
Ты возьми её грехи,
нелюбовь её к искусству
и неси их и неси...
И в душе не чистоплюйствуй.

* * *

Филитту

Нищие светом дворы
с солнцем оттаявшим
очи впитали твои,
то-то на дне их снега ещё.

Так могут странно блеснуть
только они в тёмный час,
так далеко вдруг завесть
только они могут нас.

И только полный урод,
отсвет лоящий упырь
их в этом мире поймёт,
бросит суму тогда в пыль.

Скажет: ведите меня
через болотную тьму.
Этим сморчком буду я,
жизнь свою перечеркну.

Заборы

Заборчики, заборы...
Где лают Джеки и Трезоры
из всех щелей
и улица всё коридором,
кривым петляющим пробором
между дверей.

Однажды накоплю я денег,
когда вишнёвый сад наденет
свой свадебный наряд.
Дай лапу, Джек! Или Трезор мой?
Я буду третьей, мокрой мордой
уткнусь в заборы, брат.

* * *

Серебряный свет льёшь в родные аллеи...
Россия той средней глухой полосы,
какие морозные, вьюжные змеи
твои овевают простые черты?

Тут севера с югом навек поединок,
затем-то и выткалась так бирюза,
какая бывает в восточных картинах,
но русские стынут в окошке глаза.

И этим монголо-татарским разрезом
серебряный лик навсегда говорит,
что Азия долго тут мчалась набегом,
но Север сильнее был стрел и копыт.

* * *

Был девятнадцатый век,
был и двадцатый на грех,
прочего не было вовсе.
Звёзды и розы и счастье для всех —
всё, всё поэты придумали после.

Звёзд ледяную икру,
лаковую кобуру —
роза сводила наколку
и на звезду доносила в аду,
как настоящая комсомолка.

* * *

Вы, зеленеющие в тёплой мгле
густые ивы в сводчатом окне,
на языке царапин на стекле —
скажите мне...

Скажите мне, роняя цвет свой в пыль,
в пустую высь сомнения гоня,
не то, что любит он меня,
а то, что он *тогда* меня любил.

Тогда вы были зелены — ростки,
теперь окно от листиков темно,
царапните на нём мне две строки,
и это будет от него письмо.

Был острый почерк у него *стремглав*,
отточиями лист бумажный рвал,
а почерк, милые, — ведь тот же нрав.
Ах, мне не надо правды наповал.

Тогда уж лучше, вешние мои,
когда спрошу: а он грустил порой? —
Скажите так: он сочинял стихи
и в них звезда болтала со звездой.

* * *

Так и жили, таскались по свету
дети Брейгеля, злые слепцы,
но свою бережённую лепту
мы в чужую копилку внесли.

Мы — в пустынном зазоре в полшага,
и ни в сторону шага, когда
мы проходим, слепая ватага,
сквозь слепые свои города.

Что ж, лечи нас уколом указки,
бестолковый учёный профан,
только капля лазоревой краски
и тебя полоснёт по глазам.

Словарь

До чего ж, словарь, стал ты бестолков,
проступают швы на спине, словарь,
сколько на тебе грели утюгов,
оставляла след на обложке сталь.

Но, ожог стерпев на своём горбу,
прочным словом «нить» стягивал ты швы
и обиду вглубь загонял, иглу
серебро-сосны, холодок-травы.

И когда опять заведут трезвон,
с треском оборвав тех времён ту связь,
то иных ушей ли коснётся он,
по словам другим наигравшись всласть?

* * *

Точит камень вода,
бьёт в одно, ставит ржавую точку,
как положено капле дождя.
После нас так же точно —
капли и провода.

Разойдутся большие круги,
человек на балконе закурит,
и сожмутся от дыма виски,
и ни строчки не выдавит, жмурик.
Просто будет он долго стоять
на балконе с отвисшей губою,
из-под сморщенных век наблюдать
бледно-серое небо седое.
Из-под сморщенных век,
вот такое случится, приятель, —
среди мокрого тиканья капель
ты поплачь просто так, человек.

* * *

Чу, краюха леса да коряга сна,
в целом мире разночинствует весна,
у неё размах плеча до белых гор...
Завари-ка мне, весна, стальной топор!

Где ещё вот так свободен человек?
Где ещё так несвободен человек?
Где ещё он так с великими вась-вась
и ругает власть?

День и ночь и день и ночь виском к виску
ты кукуй своё всем птицам и зверью,
а гореть когда мы будем на корню,
я шепну тебе свое лю-лю.

* * *

отцу

Наши стулья составлены в ряд,
едем, едем
длинным поездом стульев назад —
я, отец, кот с медведем.

Что возьмёшь? Ничего,
ни полслова назад, ни молчанья.
Просыхай на губах молоко,
я сегодня в хорошей компании.

Я в компании мягких зверей
и отца, что вернулся с работы,
длинный поезд веду батареей
мимо. Как год за годом

он длиннее ещё на вагон
и тележку. И, скажем,
пусть я даже не стану потом
машинистом отважным,

ты научишь машину водить
меня в городе тёмном,
по ночному проспекту пилить
и рыдать в ночь клаксоном.

* * *

Я увидела красоту из красот.
Всю светящуюся. До молекулы воздуха.
В небе. Свесившуюся из высот.
Из-под облака. Из-под облака.

Всё смотрела. Шапка и козырёк.
Ясность памяти. Тёмность ретуши.
Как стрекочет в траве самодельный сверчок:
её нет уже, её нет уже.

* * *

Из всех путей, открытых мудрецами,
мне нравится один,
он говорит сырыми несловами
и нелюдим.

Он шелестит прохожего шагами,
блестит дождём,
но не вода и, хоть убей, не камень
и невесом.

И всё на нём так видно на мгновенье,
так ярко всё —
моё немыслие, непротивленье,
неверие моё.

* * *

О, как мучительно жить! Как хочу я порой
в этом мире побыть кем-нибудь, не собой.

Кем-нибудь посмотреть равнодушно на дым,
я в окошки заглядываю — им, вот им.

Там в корытах купают смешных малышей,
керосином выводят загадочных вшей.

Мои санки поставь на укатанный снег,
ах, пойдём меж одетыми плохо людьми

за «Байкалом», за словом пылающим «хлеб»
к магазина открытию ровно к семи.

* * *

памяти Льва Лосева

Ходил по дворам медвежонок ручной,
где добрые люди его прикормили,
и всё это длилось короткой весной,
а осенью кончилось. Листья ложились.
Давно не видали, вздыхала жена,
чей муж увлечён был вечерней газетой,
как всё в этом мире печальном мужа,
и тоже немного грустил по секрету.
В капкан ли попал? Пристрелил браконьер?
Свои ли загрызли за страсть к попрошайству?
Она посмотреть выходила за дверь
и снова вела понемногу хозяйство.
Давно мне рассказывал этот сюжет
за рюмкой один ироничный писатель,
живущий в глуши, где теперь его нет...
Так пусто темнеет в том месте на карте
ню-хемпширский бор. Но бывает порой,
весенний вдруг свет прорезает чащобу
и вижу поляну, и стол над травой,
и скатерть с каймою. И, сдохнуть мне чтобы, —
сидят три медведя за этим столом
и, как затеплеет внутри от сугрева,
поют от души. И не духом и сном,
а вереском пахнет и воздух, и небо.

* * *

Завьётся цветками наш яблочный сад,
потянутся ветки из синих высот,
и сядем семьёю лицом на закат
и станем смотреть на простой горизонт.

И, словно у Фроста в стишочке одном,
рассмотрим тропинку, где свет, береста.
И эту тропинку в картину внесём,
куда ж без неё? Никуда, никуда.

Стансы

Какое облако розовое,
застилающее, паровозное
заскользило в берёзовое,
стало белой полоскою.

Мы не то чтоб расстались,
просто дуть перестали
музыканты в их трубы.
Легче, медные губы!

Ваше здесь неуместное
маршево-легковесное
ту-ту-ту на ветру,
на котором умру.

Военное кладбище в Легсингтоне

Гряньте звонче, цикады, вы, светлей, светлячки!
Здесь, на сельском кладбище, слова не нужны,
здесь простые лежат господа-мужики
и они просто-напросто им не слышны.

Здесь лишь ваши шестки пусть из мяты торчат,
только ваши фонарики светят во тьму,
и, смахнувши слезу, говорит брату брат:
«Слышишь звук?» — «Вижу свет!» — отвечает ему.

Так вот спорят они уже множество лет,
так вот множество лет с другом ссорится друг,
свет быстрее ли, чем звук, звук быстрее ли, чем свет, —
свет ли звука важней иль важней света звук.

Неизвестный поэт, я тут так постою,
разговор их послушаю, выдую дым,
голубую слезу для порядка пролью
и сама через миг освещусь голубым.

* * *

Не много же огней зелёных
мы насчитаем в быстром небе,
их называя поимённо,
а было их что тмина в хлебе.

Весь воздух был буханкой вязкой.
Прищурен глаз. В глазу — ресница.
Огня за это злое царство...
Ослепшим глазом прослезиться...

Как будто вправду всё неплохо,
как будто царство наше вновь,
как будто не прошла эпоха
мечтателей и дураков.

* * *

П. Барсковой

Квартира пахнет ремонтом,
зелёный занавес скатан
перед пустым горизонтом,
сухой извёсткой изгваздан.
Кто тут ни жил в этих стенах!
Тут сменщики-землемеры
ходили, мерили метры,
любили, крали, наверно.
Нам только звёзды на память
от жизней на новом месте,
потрогай их, постоялец,
тепло почувствуй, и если
тени погосты покинут,
меж нами жить будут дальше,
то не напрасно мы в пыль тут
макали мёрзлые пальцы.

* * *

За этими стихами мрачными
стоит отдельный человек,
измученный судьбы подачками,
а не какой-то имярек.

За этими глухими строчками
с рифмовкой накрест, как шнурок,
змеится лестница полночная,
летит закрученный дымок.

По молодости все мы — бражники,
нос — в табаке, в башке — весна,
а старость ищет рубль в бумажнике...
За этими стихами на

земле стоит певец по осени,
он после песен хорových
уже один на безголосии
рот открывает для глухих.

Поездка

Под председательством труб золотых,
прочих в тот день духовых
я не пошла на работу, взамен
села в автобус один.

Был тот автобус с разбитым стеклом,
шёл он на Иерихон,
рядом монах со своим псалтырём
и две старухи с мешком.

Пыль поднималась, метался сквозняк,
за полдень город возник,
вышли старухи, и вышел монах,
и я прошла мимо них.

И подходил ко мне белый мулла
и говорил мне: «Алла́»,
чётки какие-то в руки совал,
денег нечистых не брал.

В лавке одной прикупила еды,
вышла и села у стен
и всё смотрела на эти дворы,
даже не знаю зачем.

И всё смотрела и вдруг поняла —
к небу глаза подняла —
что никогда, никогда, никогда
счастлива так не была.

Свет был какой-то почти неземной,
пыль поднималась светло,
в каждой крупине пыли сухой
кто-то шагал сквозь село.

В дом возвращался убитый солдат,
в жизнь свою, в день-дребедень.
Но подожди, уже трубы гудят:
шапку-бейсболку надень.

Встань и иди, отряхнувши штаны,
мир уже будет иным,
жалости больше и больше вины
будет на свете к живым.

* * *

Нам надо говорить лишь злость и горечь,
Георгий Викторович Адамович,
о, право, вы с годами стали желчны.
А вечность как же? Разве мы не вечны?

Георгий Викторович, жизнь прекрасна,
даже когда она совсем ужасна,
когда нас, как плевок, по дну размажет,
но над грязцой сырых многоэтажек,

как прежде, поднимают нас за шкурки
слова про дальний дом, про третий Рим,
и любим их за слов туманец зыбкий,
и надо жить зло, мерзко, но самим.

* * *

На квадратик пустой февраля
налипает отчаянье марта,
так на белый квадратик письма
налепляю почтовую марку.
Облизнуть это клейкое дно,
сладкий мёд канцелярских зазубрин,
всё навеки веков спасено,
всё оплакано синью сосуллек.
Так уходит любовь в ночь весны,
так смешно пожимает плечами,
что о счастье узнать со спины
можно только по силе молчанья.
Но в молчании том уже все
золотые частицы сюжета,
что, включая окурки в стекле,
март достанет потом из конверта.

Признание

Приходили гости. Гости приходили. Приносили торт «Наполеон». Спрашивали: «Где здесь можно бросить кости?» Он, он, он.

Я люблю вас, милых, с мутными глазами, сплетни, пустяки, этою любовью, может быть, исправлены мои стихи.

На земле холодной, совершенно плоской есть такой момент: из кухонной двери свет течёт полоской, играет диксиленд.

Диксиленд играет, кто его там знает, где и для чего, что душа оставит землю, в этом плане нам известно всё.

Да чего лукавить, ну, и жить не буду, тосковать к утру. Мне бы посмотреть бы вот оттуда — чудо в перьях и дыму.

Содержание

«Я оттуда, откуда...»	3
Атлантида	4
«Вот и всё, колени к подбородку...»	5
«Погадай мне, цыганка, по влажной руке...»	6
«Так совершенно ничего...»	8
«Завтра сталью кольнут одноразовой...»	9
Достоевский	10
«Средь стеклянной коробки в ожиданье трамвая...»	11
«Говорила одна мне гражданка...»	12
«Лазурь небес и золото в горсти...»	13
«Здесь чужая музыка, бывало...»	14
«Как густы развешенные тени...»	15
Острова	16
Картина с грозой	17
«Я — в подвалы эмигрантских газет...»	18
«Протягиваю руку за перила...»	19
«Элементарно, дважды два, в соседнем доме окна желты...»	20
«Ах, дружба! Ну конечно, дружба...»	21
«В колодце двора, как ни выглянешь...»	22
«Дитя, ты спишь, обняв медведя плюшевого...»	23
Профессия	24
«Говорят, в России говорят по-русски...»	25
«Контрастные души, инъекции чистого холода...»	26
«В амфитеатре неба колоссальном...»	27
Сократ	28
«Как сильно люблю я на свете четыре вещи...»	29
«Песок и вода. Вода и песок...»	30
Слепой	31
«Это не мы уезжали...»	32
«Как с косами Бежина луга косцы...»	33
Серьёз	34
«Свет на небе от лимонной корки...»	35
«Я вспоминаю ночь, часов большие круги...»	36

«Таблетку на ночь приму...»	37
«Ты убит в Афганистане...»	38
«Мы не просто стояли, а запросто шли по воде...»	39
Поезда	40
Восьмидесятые	41
«В часы бездумного отчаянья...»	42
Почти романс	44
«Летает дыма голубой воланчик...»	45
Город для шелкопряда	46
«Умами зрителей играющий...»	47
«То спичек нет, то нету стрептоцида...»	48
«Поздней дорогой иду...»	49
«Вспыхнуло вдруг и на миг озарилось...»	50
«Лягу спать... И во сне приснится...»	51
«Бледный, бледный свет...»	52
«Часом раньше, часом позже все умрём...»	53
«Готово ли тело к труду...»	54
«Я с завистью редкой...»	55
«Мой товарищ звонит из Тагила...»	56
«Жить бы и жить у холодной и сильной реки...»	57
Другое	58
Зимнее утро	59
«Были рабы мы, стали мы рыбами...»	60
«История слева направо меняется...»	61
К...	62
«Стихам изволите — это ужасный тон...»	63
«Замолишь пустые грехи...»	64
«Ночевала в Латинском квартале...»	65
«Густых следов тропинка...»	66
«Крутись, мой милый калейдоскоп...»	67
«Не за употребление крепких...»	68
Le voyage	69
«Помогая немощной старухе...»	70
Из газет...	71
«Разбирая в подвале хламьё...»	72
«О том, о чём целый век тужили...»	73
Русский скрэбл	74
«Вот в железный троллейбус сажусь...»	75

«Солнце какое! Человеческий муравейник!...»	76
«Натянувши шапки по надбровья...»	77
«Челючный способ тканья полотна...»	78
«Над промзоной на Урале...»	79
«Николай, Степан, Василий — все нормальные...»	80
«Что нужно скрипочкам древесным...»	81
«Спит земля вселенской ночью...»	82
«Ну, не будут дети знать...»	83
«Нищие светом дворы...»	84
Заборы	85
«Серебряный свет льётся в родные аллеи...»	86
«Был девятнадцатый век...»	87
«Вы, зеленеющие в тёплой мгле...»	88
«Так и жили, таскались по свету...»	89
Словарь	90
«Точит камень вода...»	91
«Чу, краюха леса да коряга сна...»	92
«Наши стулья составлены в ряд...»	93
«Я увидела красоту из красот...»	94
«Из всех путей, открытых мудрецами...»	95
«О, как муторно жить! Как хочу я порой...»	96
«Ходил по дворам медвежонок ручной...»	97
«Завьётся цветками наш яблочный сад...»	98
Стансы	99
Военное кладбище в Лессингтоне	100
«Не много же огней зелёных...»	101
«Квартира пахнет ремонтом...»	102
«За этими стихами мрачными...»	103
Поездка	104
«Нам надо говорить лишь злость и горечь...»	106
«На квадратик пустой февраля...»	107
Признание	108

Катя Капович. Другое

редактор:

А. Переверзин

художник:

С. Труханов

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»


voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 15.04.2015.

Формат издания 60х90/16. Усл. печ. л. 7

Тираж 500 экз.



Катя Капович родилась в Кишинёве, училась в Нижнетагильском и Кишинёвском педагогических институтах, на факультете славистики в Гарварде. В Кишинёве входила в круг литобъединения «Орбита» (Евгений Хорват, Виктор Панэ, Александр Фрадис). В 1990 году уехала в Израиль, в 1992 году переехала в США. Автор девяти книг стихов и прозы, изданных в России, Израиле, США на русском и английском языках. Живёт в Кембридже (США), работает редактором англоязычного поэтического журнала «Fulcrum».